

ВЛАДИМИР ШАРОВ

**СЛЕД В СЛЕД
ДО И ВО ВРЕМЯ
МНЕ ЛИ
НЕ ПОЖАЛЕТЬ**

Романы



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

| СОДЕРЖАНИЕ |

СЛЕД В СЛЕД

| 7 |

ДО И ВО ВРЕМЯ

| 215 |

МНЕ ЛИ НЕ ПОЖАЛЕТЬ

| 507 |

| СЛЕД В СЛЕД |

Роман

Эти записки я начал собирать из многочисленных разрозненных заметок в феврале 1979 года, через два года после смерти моего приемного отца Федора Николаевича Голосова, их главного действующего лица, а по большей части и автора. Соединить отдельные воспоминания, дополнить их до целого (здесь мне во многом повезло) было моим долгом перед умершей, пресекавшей на нем семьей Федора Николаевича. Как приемный сын я тут не в счет.

После этого предисловия и до самих записок мне кажется нужным сказать несколько слов о последних годах жизни Федора Николаевича и объяснить, почему я был усыновлен им.

Мое имя Сергей Петрович Колоухов. Со стороны матери я принадлежу к коренным воронежцам; судя по дворянской росписи конца XVII века, ее предок вместе с набранным отрядом низовых казаков был поверстан на службу в 1698 году и получил землю недалеко от Воронежа в Епифанском уезде. В 1862 году, сразу после крестьянской реформы, семья ее продала маленькое поместье, которое у них еще оставалось, и перешла в широкую и многоликую группу разночинцев, дед со стороны матери учительствовал и в начале XX века был директором Первой воронежской мужской гимназии, состоя в чине действительного

статского советника. До сих пор живы ученики этой гимназии, которые его хорошо помнят. Моего деда по отцовской линии судьба кидала из стороны в сторону больше, чем родителей матери, но и он по тем временам прожил жизнь вполне спокойную. Родом он был из Сибири, из-под Омска, в 1910 году поступил в Дерптский, ныне Тартуский, университет и там учился у знаменитого в то время ботаника Козо-Полянского. В шестнадцатом году, после защиты магистерской диссертации, он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, а в восемнадцатом, после начала эстонской независимости, вместе с русской профессурой и большей частью библиотеки, вместе с тем же Козо-Полянским, относившимся к нему как к сыну, переехал в Воронеж, где осел. Его сын и был моим отцом.

Хотя я всё свое детство прожил в Воронеже, до двадцати лет надолго никуда из него не уезжал, знаю в нем каждый дом, каждую улицу, знаю многих людей, живших на этих улицах — у матери и отца был, что называется, «открытый дом», к нам ходили чуть ли не все, кто был связан с университетом, — словом, хотя город должен был быть для меня живым из-за людей, связей, воспоминаний, так никогда не было. Массивные, низкие, как будто недостроенные дома, длинные, как туннели, пересекающие весь город улицы (память о Петре и Петербурге), по которым зимой дуют степные заволжские ветры — в детстве я больше всего боялся, что они унесут меня, — к нам эти ветры приходят со стороны Саратова, но родина их дальше, в казахских степях, и еще дальше, в Сибири. Город и сам казался мне родом оттуда. Конечно, я не прав, и он все-таки живой; здесь родилось несколько хороших писателей, поэтов, художников, отсюда и любимый мной Андрей Платонов.

В нашем городе был и до сих пор есть некий налет столичности, десяток монументальных зданий, балет, — всё это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако куда больше в нем от лишенца.

Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной оставили ему едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.

После революции здесь осели очень многие: и тартуская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил снова подняться и искать другого. Все они довольно быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко — до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Слившись, эти разные и опять-таки различинные интеллигентские толки снова начали ставить любительские спектакли, играть в бридж и буриме, а под Новый год крутить тарелки, снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, — длинные иглы их почти не опадали.

Бытовала тут и кое-какая наука: хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи, в деревнях мешанина всяческих сект — граничность этой территории, хоть и было время всему смешаться и сойти на нет, еще чувствовалась — старообрядцы, молокане, хлыстовцы, странное село с блеклым русым вырождающимся народом, упорно считавшим себя евреями, — то ли адвентисты, то ли потомки хазар, разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, по большей части, правда, уже без немцев, — всё это среди ровного пространства степей, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где ветер, который так пугал меня в городе, давно уже должен был сдуть и смешать всё.

С Федором Николаевичем Голосовым я познакомился, когда мне было тринадцать лет, в начале или середине пятидесят седьмого года. Как-то на одно из наших семейных торжеств, семейных только по названию, школьный друг отца — теперь он работал директором авиационного завода — привел не знакомого мне студента. Было ему лет двадцать, и было известно, что он москвич, сын крупного конструктора самолетных двигателей,

имя которого назвали всего один раз, да и то шепотом, он был засекречен. По каким-то никому не известным причинам Голосов уехал из Москвы и теперь собирался навсегда поселиться в Воронеже, он уже перевелся на IV курс истфака и только что сдал летнюю сессию.

Вопреки обычному нелестному мнению о москвичах, существовавшему у нас, как и везде в провинции, он оказался удивительно тихим и приятным человеком, легко вошел в наши занятия, от игры в карты до всё того же верчения тарелок, и, в общем, уже через год-полтора стал своим. Правда, непонятность, странность его переезда продолжала еще долго сковывать остальных, в нашем кругу все друг о друге всё знали, и не только с пеленок: женились, разводились, вновь сходились, но, что бы ни случилось, почти никогда не преступали границ, внутри которых родились и выросли.

Дважды или трижды была предпринята попытка женить его (у Голосова был долгий роман с одной из наших знакомых) и тем самым как бы упрочить его воронежскую прописку, несколько раз через московских знакомых узнавали о причинах столь неожиданного кульбита, но в обоих случаях результат был неутешительным, недоверие осталось, однако никаких зримых поводов для беспокойства не было, всё шло так же, как раньше, и я теперь понимаю, что эта тайна даже немало обогатила всех, дала нашему кругу как бы другой пласт измерения. С того времени многие начали таиться, чего раньше у нас никогда не было, отношения от этого не ухудшились, но былой простоты не стало.

К году переезда Федора Николаевича в Воронеж я уже в целом определился: новейшая философия (конец XIX–начало XX века), пришедшая, как это ни смешно, на смену маркам, занимала всё мое время. Хорошие способности к языкам, характерные для нашей семьи — и дед, директор гимназии, и отец были лингвистами, специалистами по классическим языкам, — позволили мне еще до окончания школы свободно знать латынь, немецкий и французский, а также без особого труда разбираться в английских текстах. Богатейшее университетское собрание философов

рубежа века было в почти монопольном моем пользовании, месяцами я не сдавал книги, читал, конспектировал, делил на школы, искал влияние и противоборства.

В семнадцать лет, после окончания школы, я поступил на философский факультет — и теперь сталкивался с Федором Николаевичем почти ежедневно: кафедра, на которой я хотел специализироваться, и его были рядом. К этому времени он уже защитился и читал курс русской истории. Так получилось, что мы вместе стали ходить в университет, часто гуляли и в недолгое время близко сошлись. Хотя он был старше меня менее чем на десять лет, я, да и он, числили друг друга в разных поколениях и не переходили дистанцию.

В двадцать один год моя жизнь круто изменилась: родители разбились насмерть в только что купленной машине, и я остался один. Сейчас я не помню, как прожил ту весну и лето. Единственным, кого я мог тогда видеть, был Федор Николаевич. Теперь я понимаю, что он уже в то время добросовестно пытался заменить мне семью, но при тех отношениях, которые у нас были, это было невозможно; денег я не брал, от всякой помощи отказывался, мне казалось немыслимым, что кто-то будет делать для меня то, что делали мать и отец. Внешне его поведение со мной почти не изменилось, однако я чувствовал, что стал в его глазах другим, да и сам часто ловил себя на том, что кажусь себе старше его: все-таки у него были и отец, и мать, а у меня никакого прикрытия уже не было, я был старшим в своем маленьком роде, главным и последним в нем. Всё же, хотя я и не позволял Федору Николаевичу помогать мне, я знаю, что только благодаря ему я смог тогда стать на ноги.

Жизнь продолжала нас связывать и дальше. В двадцать два мне предложили аспирантское место в Москве, но по специальности, которая не вызывала у меня ничего, кроме недоумения, — научному атеизму. В Воронеже никаких перспектив не было, я как бы намеренно вышел из того круга, центром которого были мои родители, продолжать старые отношения я не хотел и не мог, однако сейчас, задним числом, я часто

удивляюсь, как быстро произошел этот разрыв, как быстро я был изъят из их жизни, а они из моей.

Несмотря на отличный диплом, места при университете для меня не нашлось, и я был распределен в школу. Шел август. Я уже начал готовиться к урокам, несколько раз побывал в своей будущей школе; Федора Николаевича в это время в Воронеже не было — еще в июне он уехал в Москву, где тяжело болела, а в конце июля умерла его мать. В середине августа он вернулся, чтобы уладить свои воронежские дела перед возвращением, уже окончательным, в Москву. Отец его после смерти жены оказался совсем один, очень сдал, тоже почти всё время болел, и оставлять его надолго было нельзя.

Больше как о шутке я рассказал Федору Николаевичу о месте научного атеиста, но он отнесся к этому делу иначе, и в конце концов я следом за ним поехал в Москву — может быть, не столько из-за его доводов, сколько из-за него самого. В ноябре я легко выдержал экзамен и стал аспирантом. В Москве через два года я женился на милой девушке, тоже аспирантке, но из другого сектора; она была похожа на мою мать, но не лицом, а скорее повадкой, и, думаю, понравилась бы родителям, будь они живы. На последнем году аспирантства у нас родился ребенок; кучу проблем, которую вызвало его появление, мы, признаться, не предвидели. Ни жить, ни работать было негде. С Федором Николаевичем мы в то время почти не виделись, и поэтому и жена, и я были буквально поражены, когда он предложил нам поселиться у него в большой трехкомнатной квартире на Суворовском бульваре, оставшейся ему после недавней смерти отца. Несколько раз он пытался прописать нас у себя, а потом, когда выяснилось, что единственный путь — усыновление, он и моя жена сумели уговорить меня на это.

В январе семьдесят второго года, ровно за семь лет до неожиданной смерти Федора Николаевича, я стал его сыном, правда, сохранив свои прежние имя, отчество и фамилию. Умер Федор Николаевич 16 января семьдесят девятого года — в нашем

подъезде, от разрыва сердца, буквально за одну секунду. Врач-кардиолог, который жил на втором этаже и тут же спустился, уже ничего не смог сделать.

После смерти Федора Николаевича я оказался его единственным наследником — других родных у него не было. Среди той части имущества, которая нам была не нужна и которую мы запихали на антресоли, находился и огромный портплед, где, как я знал, хранились бумаги и записки, отобранные Федором Николаевичем за год до смерти. Я знал также, что остальное он сжег, а с этим собирался работать дальше, и что эта работа была для него главным в жизни. То, что я убрал эти бумаги и забыл о них, — мой грех, так же как и другой грех — согласие на усыновление: есть вещи, которые делать нельзя, даже если никому от этого не стало хуже.

Надо сказать, что при том, что мы действительно последние годы жили как одна семья, Федор Николаевич никогда не посвящал меня в свою работу, да и я ни в коей степени не вмешивался в его дела и не интересовался ими; степень близости между нами была перейдена, и углублять ее мы оба не желали. Во многом здесь сыграло роль мое чувство вины перед матерью и отцом за согласие на усыновление и его чувство вины за то же самое. Архив Федора Николаевича провалялся среди другого хлама несколько лет; я говорил себе, что надо заняться им, что это мой долг, но всегда текущие дела отвлекали меня, и я постепенно стал о нем забывать. Антресоли наполнились папками с моими бумагами, и портплед потонул в них. Боюсь, что я бы так и не вспомнил о нем, если бы мне, насколько это вообще возможно для научного атеиста, не был дан знак свыше.

В марте 1984 года я работал в архиве Троице-Сергиевой лавры в фонде тогдашнего архимандрита отца Феодосия, готовя большую статью о религиозной философии рубежа века. Материал был богатейший, особенно интересной была переписка Феодосия с Владимиром Соловьевым. К концу месяца у меня набралось уже несколько толстых тетрадей выписок, и я понял, что пора остановиться, иначе потонешь. На завтра

я заказал последнюю порцию дел, в гостинице достал спрятанные на дне чемодана коробки конфет для девочек из хранения, а потом отправился в ресторан. Утром пиво поставило меня на ноги, и я, хоть слегка и помятый, к одиннадцати был в архиве, вручил свои дары, получил дела и принялся за работу.

Развернув очередное послание к Феодосию, я вдруг увидел, что оно написано почерком Федора Николаевича. Ничего не понимая, я долго тупо смотрел на него, потом перевернул страницу, но и там были те же нажимы и те же буквы. Письмо было написано его рукой — сомнений тут не могло быть никаких; ни разу в жизни я не встречал ничего похожего на его резные, с явным левым наклоном, одновременно совершенно непонятные и каллиграфические буквы. Подписано письмо было фамилией Шейкеман, которую я видел впервые. Было оно короткое и неинтересное: отпуск денег для библиотеки и список вновь приобретенных книг. Два часа я просидел над этим злосчастным посланием, раз тридцать перечел его, рассматривая каждую букву; с таким бредом я еще не сталкивался, впору было перекрестить письмо и сказать «сгинь». Единственное, что пришло мне в голову, — посмотреть, нет ли в архиве фонда этого самого Шейкемана. Девочки разузнали мне всё за двадцать минут: фонд был, но принести его уже не могли — пятница, вечер и из хранения все ушли.

Я тоже собрался и вышел на улицу. Город тонул в густом тумане, и церкви почти не были видны, ранняя в этом году весна растопила снег, и обычная вязкая грязь маленьких городков стояла везде. Скоро должны были звонить к вечерне. У главных ворот лавры я свернул налево и начал обходить ее, так часа полтора я гулял каждый вечер. Скоро и вправду зазвонили, туман глушил и рассеивал звук, звонили со всех сторон, но далеко. На полпути я потерял лавру, долго плутал по кривым грязным улочкам, спрашивать никого не хотелось, а потом, сделав почти полный круг, неожиданно вышел к центральной площади, где стояла моя гостиница. Я уже знал, что сегодня поеду домой, приму ванну, вообще по возможности приведу себя в порядок,

в понедельник же продлю командировку и займусь этим Шейкеманом, а после него — архивом Федора Николаевича. Домой я попал среди ночи — и сразу же стал рыться в столе, ища письмо или какую-нибудь записку Федора Николаевича: все-таки я надеялся, что почерк не его; наконец нашел — и так же тупо, как в архиве, понял: его.

После смерти Федора Николаевича, пока еще всё, связанное с ним, не стало забываться, я часто думал о конце его семьи; мне было страшно, что я оказался единственным его родственником, единственным наследником. Но у меня со стороны отца и матери до второго и третьего колена не осталось никого — во всяком случае, я ни о ком никогда не слышал. Помню, что на поминках Федора Николаевича я, чуть ли не первый раз в жизни напившись, говорил жене, что предал отца и мать, что это из-за нее я отказался от них, и теперь мне надо продолжать два рода — и свой, и Федора Николаевича, и что я так не могу. Потом, когда все ушли и мы остались одни в этой огромной квартире, я лег в своей комнате, но спал недолго, скоро поднялся и стал искать жену. Я ходил из комнаты в комнату, но ее нигде не было, мне стало страшно, я закричал, она тут же прибежала, и я, так же в крике и в слезах, выговаривал ей, что я всех предал и теперь, как обрубок, никому не нужен. Она почти до утра просидела со мной, ничего не говорила, только гладила. Больше мы к этой теме не возвращались, но уже тогда, пьяному, мне показалось, что она думает так же, и ей нечем помочь мне.

Теперь, после своего ночного возвращения из Загорска, я проснулся, уверенный, что Шейкеман и Федор Николаевич напрямую связаны между собой. Всю ночь то ли во сне, то ли в полудреме я думал, почему Шейкеман возобновился именно в почерке, буквы и слова представлялись мне дорожкой, уже один раз пройденной, которую надо размотать, распутать, чтобы не петлять и идти скорей. Моя утренняя уверенность была связана с наблюдениями за сыном. После смерти отца и матери я искал в нем их черты, подсознательно я думал, что мой сыновний долг хоть в каком-нибудь, пускай неполном виде, возобно-

вить их. Внешне Саша мало походил на нас: глаза, правильно очерченный рот, весь облик скорее напоминал линию жены, — однако мелкими, непонятно даже как наследуемыми особенностями характера, вкусами, пристрастиями он пошел в нас. Спал он так же, как отец, в позе задумавшегося философа, положив указательный палец на нижнюю губу, и, как отец, отходил от ссор, рассматривая географическую карту. Как я, он просыпался всегда в том же настроении, в каком заснул, а говоря, кружил по комнате, причем чем быстрее говорил, тем быстрее и кружил, отец называл это «разматыванием мысли». Почерк был из особенностей того же рода.

Встав, я принял ванну, позавтракал и, несмотря на протесты жены, начал разгребать антресольный мусор, пока не добрался до портплекта Федора Николаевича. На пятой из двух десятков папок, лежащих в нем, была приклеена бумажка с надписью «П.М.Шейкеман». Выписка в ней было мало, Федор Николаевич знал о своем прадеде только то, что он был белорусским евреем, участвовал в Балканской войне 1877–1878 годов, потом крестился, принял сан и священствовал в одном из подмосковных приходов; его единственным ребенком была дочь Ирина, умершая в 1923 году. С удивлением я обнаружил, что не авиаконструктор Голосов, фамилию которого он носил, а сын Ирины Шейкеман Федор был настоящим отцом Федора Николаевича. Всё остальное, что есть в этих записках о П.М.Шейкемане, мне удалось разыскать в трех основных местах — в архивах Троице-Сергиевой лавры и Московской патриархии, а также в различных московских и петербургских газетах 70–80-х годов прошлого века.

Надо сказать, что сам Шейкеман в своих письмах старательно обходил всё, что касалось его юности и Балканской войны, и без газет, несмотря на их вранье и подчас фантастические преувеличения, мне было бы нелегко понять хоть что-нибудь из его жизни. В письмах, как мне кажется, я сумел уловить общий тон этого человека, и из газет выбирал живые детали, согласные с ним. Историю жизни Шейкемана я начну со стихотворения Федора Николаевича, которое, как мне кажется, ей близко: